

Бывает минуты, когда воображение не ведает меры. Образы, которые оно испосылает нам, населяя окованное бездействием сознание, один краше другого. Толпы людей окружают тебя, тьма толп, порожденных некими смутными, не вполне объяснимыми желаниями. Мимо скользят чудесные женщины, они все возлюблены. Приятные умные мужчины корректны, обязательны и умны, Востительные пейзажи, в которых трудно угадать известные нам, обнаружить что-нибудь конкретное, служат дивной рамой для успокоительных прогулок. Но мы подгоняем воображение, мы торопим его, ибо миг обладания всеми сокровищами, всеми красавицами, властью кажется не достаточно прекрасным, не вполне глубоким, обманывая ожидания, — как бы мелеет призрачный мир, словно лучи света, которого страшатся исчадия печали, сумрака душевного, нежданно-негаданно пробиваются сквозь постылый туман... и дурманом, маревом предстает глазам нашим бесконечные построения, совершеннейшие композиции, дивные творения. Может быть, и вскрикивают тогда мужественные бородатые мужчины, тонко, дико вскрикивают, старея в миг на годы. Может быть, бледнеют женщины, до крови кусая губы, машинально трогая лицо руками, вплетая горестно еще одну паутинку в пустые сети старости. Но мы торопим воображение, мы топим его, покидая (как на пожаре покидают кошек) рассудок, — мы ищем в нем убежища от него самого. Так толпы постепенно рассеиваются, редееет листва, бурая трава оплетает щиколотки и вместо пиршества, вместо многого — ищем, разыскиваем наперсника, учителя, собеседника, но как бы ни ^{быстро} хитро воображение, не способно оно создать равного; все на шаг отставать будет, все на волосок хуже будет у него; если ты невеждиком — он невежеством ведем будет; если ты раздражением, бесплодностью удручен — злобой, зияющей бездной отме-

чен будет он. И что магия письма? Что древнейшее средство!.. Зачем уповать на то, будто возьмешь перо — и потекут явления в стройном порядке, и хор светил в гармоничных созвучьях загремит хвалой Создателя. Глиняная лошадка не увезет далеко. И точно после выставки, в те таинственные тихие часы, когда сняты со стен картины, когда из стен торчат гвозди, свисает с потолка скрепы, пыльные вантины — разваливается глиняная лошадка... и пальцем рассеянно, бездумно опрокидываешь фигурки. Дурман, марево...

Собеседник? Наперсник? Вакантная должность? Благословенны сельские боги! Господин Аббат? Мы с вами знакомы, в чем нетрудно усмотреть благоприятный знак судьбы. В ваших словах неоднократно я слышал отголоски собственных праздных размышлений. Причем мера, чутье, ваш такт приятно радовали сердце. Извольте ответить, где крали вишни? Отменные вишни, ничего не скажешь, благодарю... Так, так, за парком, за рекой? За темными лесами, за синими горами?

Немного длинный нос и шаг широкий, размашистый. Шаг офицера. Репей к султане прилепился.

Нет, господин Аббат, что женщине — Тертуллиан? Только женщина с безупречным вкусом позволит себе быть умной и мановением ресниц превратить любую сумку теологий в эпистолярный роман, — и все равно говорить с ними, что играть с собой в карты. Благословенны сельские боги! И потому, мой дорогой друг, на ужин приглашены лишь цветы. Да, вы безусловно правы, смеркается. Что ж... идите! Ах, как был я искренно влюблен во все человеческое, собранное во мне, поверьте... Я был наивен, не правда ли? Я любил, я обожал господина Теста. Всего лишь упоминание о нем, отголосок его высокомерного безумия могли по-

вергать меня в мучительное томление, как одну девушку — полнолуние.

Теперь меня чарует тайна служебных слов, точно так же как в опоре я, не слыша пения и музыки, могу часами следить за третьестепенными персонажами, их лицами, которые появляются всего на минуту, чтобы пропасть в совершенной машине театра навсегда... В языке их много. Предоставим считать бедным. Однако же... Какие они? О, мой друг, прибегая к помощи памяти и того, что дает ей живительную силу, я истязал себя определениями, отмахиваясь от бесчисленных ловушек, ложных входов, фальшивых дверей, я повисал над открытыми колодцами, и от бездны меня отделяла непрочная преграда привычек и пристрастий. О, как описать то, что я находил, подозревал в смиренных частниках — их пленительная стерильность, их движение, напоминавшее танец, не приближающий к божеству, а отдаляющий от него... язык изнемогает от любви к ним, как Нарцисс, склоняющийся все ближе и ближе над идеальной гладью, но первый же порыв ветра уничтожает иллюзию... Бессспорно, я мог бы обратиться к фигуре парадокса, чтобы исчерпать себя и столь прелестную тему для разговора, — убежден, что это так же просто, как не прикасаться к скважинам флейты. Как много и как мало в нашем языке служебных слов! Как пережить мне мою любовь к ним? Не беспокойтесь — то, что привлекло ваше внимание, всего-навсего пожар в честь приезда императора. Мы полюбуемся заревом с пригорка. Итак, они пусты, как флейта, к которой никогда не притрагивалась рука, которую никогда не заполняло дыхание... безмолвствующий тростник исполнен прекраснейшей музыки, и как бы ни был искусен и сведущ музыкант, как бы могуч и безмерен ни был его разум,

он конечен и потому ограничен и потому убог. Не следует ли нам вспомнить судьбу Марсия, осмелившегося дерзко противопоставить божественной неопределенности и идеальной полноте лишь свое представление о них? — он ввергнут, помнится, был в хаос, лишен кожи, оболочки, формы, он, я полагаю, был милосердно впущен в то, о чем только догадывался его короткий, испорченный ум. Итак, они пусты, как могут быть пусты связи без того, что связуют, но существуя непреложно, бесконечно, останавливая себя только тогда, когда отблеск понятия, изменения, наконец, определения лишает их божественного света, претворяя бесконечное ничто в плоское, наделенное качествами положение. И чтобы встретиться с ними, приблизиться, мне надлежит, как охотнику, замирающему, погибающему в неподвижности, забыть, забыть, забыть обо всем. Прощайте... вы покидаете меня напрасно. Я погляжу, как пылает наш укин, я предпочитаю смотреть. А говорить... Говорить обо всей этой чепухе — куда как легко и с одним, и с другим, и с демонами, и с ангелами. Но захоlustь лета!

Смерть и лето никого мне не оставили.

Парит меж небом и землею Александр, набираясь могущества воздушных стихий, напоминая детям птицу, под шелестом которой двое мне незнакомых спускаются по рижему от травы склону к озеру, и кто-то в то же время пересекает безднуно океан, рукою машет, толпа рукою машет, берег отливает.

Болтун Амбрашевич-и тот теперь в отдалении.

Да, Герцог, я узнал тебя в сутане. Да, обо всем этом я мог бы говорить даже с тем, кого незначай встретил на кольце, куда прибыл автобус, раскаленный, аки печь огненная.

Солнце садилось. Удушающий жар висел над площадью Льва

Толстого лиловым паром. Солнечный диск обморочно западал за гребни крыш, мутно-красный в предвечернем тумане испарений. Из автобуса я вышел первым. Меня покачивало. Каждое резкое движение отдавалось суконным ударом в затылке. Я подал ей руку, а сам тем временем осторожно ворочал головой, косил глазами, отыскивая автомат с газированной водой. Шея ныла. Хилый ветерок заполз под рубашку и остался дежать на спине бессиленной липкой рыбой. Я посторонился, давая дорогу тесно спаянной продуктовыми сетками семье, и попал под ноги старику в черной коверкотовой кепке. Старик ткнул меня палкой, выцедил из рытвины (цвета фортепианной клавиши) проклятие и удалился, выпячивая под глупым пиджаком спину. Планеты медленно, слишком медленно проплывали над миром. Вот так, — мелькнуло у меня, — все развалилось, как в анекдоте: все попадало.

— Простите, у вас из носа идет кровь. — Я не поверил своим ушам. Оказывается, кому-то не безразлична моя кровь. — Я вам дам платок. — во второй раз обратился ко мне долговязый енота, протягивая желтый платок.

— Спасибо. — голову я наклонил в знак благодарности совсем незаметно, но впечатление было такое, будто грохнулся с пятого этажа.

— Спасибо, — повторил я как можно тише. — Платок у меня есть. Его хватает.

По верхней губе, капризным извивом затекая в рот, протянулась горячо знакомая струйка крови.

— Где-то тут был автомат. Вы не знаете, где?

— Да. — кивнул енота. — Он стоял там, у овощного ларька. Еще вчера стоял. Сегодня увезли ремонтировать. Превратность судьбы.

- Нехорошо. - сказал я. - Прямо-таки плохо. Мне надо-
ели превратности.

- Нам мало осталось. - Сказала Вера. - Потеряи. Можешь?

- Что можешь? - спросил я.

- Знаете...- неуверенно произнес юноша. - Я живу на той
стороне, за сосисочной. Если не возражаете, можете зайти. Умо-
етесь, приведете себя в порядок. Видать, у вас раскаливается
голова?

- Раскаливается. - признался я. - И нос раскаливается.
Дышать нечем. И сердце раскаливается. А у вас?

- Кто его так? - спросил юноша у Веры. Мы не двигались
с места.

- Солнечный удар. - объяснил я. Вера хмыкнула, покачала
плечами.

- Неприятная история. - добавил я. - Думать не хочется.

Солнце заваливалось за крыши. В доме за площадью малино-
во вспыхнули окна. Они пылали безумно и неслышно, и никто не
отворял их, никто не кричал. Стрижи кружились вверху. Опять
пожар, - невольно подумал я, - немудрено, что пожар. Торф го-
рит, леса горят.

- Вы решили? - прерывая оцененение, осведомился юноша.

- Пойдемте. Здесь близко. Рукой подать. Вам тотчас полегчает,
только умоетесь, попьете. А вот мой дом. - указал юноша рукой.
Я отвел глаза от пожара и посмотрел на дом. Юноша уходил. Мы
пошли следом. Я смотрел ему в затылок и сравнивал его со своим
затылком. По широкой лестнице мы поднялись на второй этаж. Он
вытащил ключи и открыл дверь. Я захотел спать. Он сказал:

- В конец коридора, дверь налево. Там рога на стене.

Рогов я не приметил. В комнате было славно. Чуть непонятно, но славно. Ничем не пахло. Мебели, как таковой, не было. Ну, да я привык к комнатам, где нет мебели, или случайная мебель, подобранная во дворе.

У правой стены, — обегая окно, отслаиваясь от него, — стоял проваленный диван. Посреди комнаты — стол. Скатертью могла быть толстая мирная пыль. У окна — снова к нему — выдвинутого на улицу неполноценным эркером, находилось выкрашенный добротной белой краской трельяж с единственным зеркалом, пересеченным серебристой трещиной. Под потолком, чуть дребезжа от сквозняка, висели воздушные змеи. Коробчатые, ромбами, многоугольные.

Путаница нитей, шорох, потрескивание, глухой звон туго натянутой бумаги вызвали у меня приступ настоящего головокружения. Я заметил в зеркале, как человек, похожий на меня, зажег спичку и погасил ее. Весьма вероятно, что после того, как я потерял много крови... Вероятней всего, я получил солнечный удар. Я еще раз зажег спичку и приблизил ее к зеркалу, где расщепленный на пять прозрачных подобий огонек обламивался на неуязвимом серебре трещины. За весь сегодняшний день солнечных ударов не счесть в пещере каменной... ну и рожа! Дикана солнечных ударов и метаморфозы становятся явью. Впрочем, сознание я не потерял. Лежал на диване. Голова покоилась на подушке без наволочки, кто-то подсунул. Видел окно, когда лежал на подушке — залитое как бы водой; серебряный луч в маслянистой раме зеркала — конье Архистратига, и там же край солнца. Оно уходило.

Лежал и слышал негромкие утробные голоса. Лежал и думал, когда лежал, рассматривая розовевшее небо, пунктир беглый стригшей отмечая — почему-то думал о колокольчиках из стекла, невших на дереве, о Соне в платье... таком, как платок у этого, который... ну, который пригласил. Она на цыпочках под старым орехом, привешивает колокольчики к нижней ветке, из которой я лук хочу сделать. Думал о приятном, не о спасении, а о приятном... О, даже ее слезы, и те были сейчас мне нужны — путешествовал я в шляпе, а в руке посох полированный из ореховой ветви — взял и вытатуировал по слову, по одному слову — ей и себе. Она плакала. Это больно, я знаю. Потер рукой часы. И опять, как в автобусе, как шорох бабочкиных крыльев: "Должно быть..." — катится, катится волна капустниц над вымершими знойными огородами, кузнечик покусывает слух, — катится, нарастает волна капустниц, над смородиной, — "Можно чаю попить, надо посмотреть — есть ли чай..." Лимонная, с черным краном, молниеносная.

На чердаке (я уеду, уеду — дремотно), где пахнет старым разогретым картоном, сажей, чердачной рухлядью — открывать с Нового года забытый ящик игрушек. Первого июля. С Новым годом. Глиий, с новым счастьем...

"Лучше я сама..." — с одной стороны. Любопытно, кто это? — "Да, да, да, хорошо". — с другой. Я еще не пьян. В рот не брал. Я не ел с утра. Брошу пить. Навсегда. Уйду в монахи, медведей с руки кормить буду, старушка кланяться, дрова пилить, зубы выпадут полностью.

Чай пошла ставить Вера, а снова подошел ко мне, привсел в изголовьи на корточки. Зеленые глаза смотрели с участием. Я